

радными лестницами и коридорами. У вас сложные коридоры; но апартаменты хорошие — и, главное, я их люблю. — И всегда я желал проникнуть в них».⁹⁹

Далее Толстой, вспоминая беседы со Страховым, стремится опровергнуть его веру в объективность, стремление всегда и во всем быть объективным, хладнокровным, застегнутым на все пуговицы: «Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем — объективны. И все мы это делаем, но ведь это только обман, законный обман, обман приличия, но обман, вроде одежды. Объективность есть приличие, необходимое для масс, как и одежда. Венера Милосская может ходить голая, и Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении. Но если Венера пойдет голая и старуха-кухарка тоже, будет гадко. Поэтому решили, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка будет менее безобразна. Этот компромисс мне кажется и в умственных произведениях. И крайности, уродства, surcharge одежды часто вредит; а мы привыкли. И вы слишком одеаетесь объективностью и этим портите себя, для меня по крайней мере. Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?»¹⁰⁰

Письмо Толстого задело и взволновало Страхова. Более двадцати лет он будет в беседах и разговорах отвечать Толстому, то полемизируя с ним, то пытаясь попасть в сердечно-исповедальный тон или, говоря иначе, «раздеться». К сожалению, самые первые ответные письма Страхова, очевидно, утрачены, в том числе и «прекрасные четыре письма», где он пишет «про себя», которые Толстой «перечитал по нескольку раз». Но отвечать на какие-то личные признания не стал, отклонив мнение о том, что он живет *полной жизнью*, будто бы ясной в отличие от унылого и безутешного существования Страхова: «Не думайте этого. Вы многое, мне кажется, относите к своей личности из того, что есть свойство всех людей и, простите за гордость, лучших людей».¹⁰¹

Скорее всего, Страхов не очень «открылся» в этих письмах. Продолжая разговор о себе в ноябре 1875 года, он по-прежнему славословит Толстого и, в сущности, мало и чересчур «объективно» пишет о себе: «Ваш пример и Ваши письма сильно возбуждают меня. Разница здесь между нами та, что Вы воодушевлены, работаете мыслью и сердцем, чтобы добыть решение или пояснение высших вопросов, я же, как будто усталый или бессильный, только вечно смотрю на эти вопросы, только беспрестанно обращаюсь к ним своею мыслью, почти не ожидая разрешения. Но это действительно так. Мысль о смерти есть самая обыкновенная моя мысль, так что я уже перестал ее поворачивать и рассматривать. Меня уже просто занимает то, что Вы назвали (письмо во Флоренцию) *смыслом жизни*. Я прислушиваюсь, вглядываюсь, но не *стремлюсь*, как Вы, не *борюсь* с задачей. — Я ей верен, но что же больше делать, если чувствуешь слабость сил?»¹⁰²

Страхов деликатно отклонил советы, предпочтя роль стоящего в стороне «объективного» созерцателя, прислонившегося к Толстому, — в последнем он видит «благодушнейшего христианского монаха, у которого прощения и снисхождения столько же, сколько и самых высоких и строгих требований».¹⁰³ Сам же в борьбе и жизнестроительстве участвовать не хочет, да и не в силах, фаталистически принимает настоящее: «Мне нужно научиться не

⁹⁹ Там же. С. 211.

¹⁰⁰ Там же.

¹⁰¹ Там же. С. 213.

¹⁰² Там же. С. 223.

¹⁰³ Там же. С. 227.